Н. Г. Федосеенко

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА»: СКИТАЛЬЦЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Лишний человек» — типологическая категория, привычная для русской литературы начала — середины XIX века, однако существует генетическая связь героев конца века с их литературными предшественниками, что и стало предметом размышления автора данной статьи. В ходе анализа выявлена эволюция данного типа героя и предложены уточняющие терминологические определения.

Ключевые слова: лишний человек, типология, скиталец, красноречие.

N. Fedoseenko

TO THE ISSUE OF A TYPOLOGICAL CHARACTER OF «THE SUPERFLUOUS PERSON»: F. M. DOSTOEVSKY'S WANDERERS

«The superfluous person» — a typological category, habitual for the Russian literature of the beginning and the middle of XIX century, however, there is a genetic connection of protagonists of the end of the century with their literary predecessors. The evolution of the given type of the protagonist is described and terminological definitions are offered.

Keywords: The superfluous person, typology, wanderer, eloquence.

Тип, который в литературоведении принято считать типом «лишнего человека», закончил свое литературное существование к середине XIX века. Однако литература в своем развитии не теряет своих открытий. Правомерно предположить наличие генетической связи героев конца века с их предшественниками, в том числе и с типом «лишнего человека». Известно, что само типологическое определение неоднозначно и включает в себя разные характеры: Онегина, Печорина, Рудина, Обломова, Чулкатурина. Отнесение барина Обломова к данной группе героев спорно, поскольку использовано Добролюбовым скорее в метафорическом, чем в типологическом значении. Г. А. Бялый отметил ряд отличий этого героя от героев типа «лишнего человека» [1, с. 31], добавим, что Чулкатурин самоедством, злостью и точками соприкосновения с образом «маленького человека» ближе к «подпольному человеку» Ф. Достоевского, чем к образу собственно «лишнего человека».

Таким образом, будем считать типологическим характером «лишнего человека» героя, генетически связанного с романтической традицией, близкого к Онегину, Печорину, Бельтову и Рудину.

В качестве типологической доминанты возьмем следующее:

1. Уровень образованности, который, как правило, связан с европейской культурой и является одной из причин «лишности» героя: «науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо быть только ловким. Тогда мне стало скучно…» [8, с. 316], «Бельтов <…> очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему» [2, с. 233].

Невозможность реализовать свои силы вызывает страсть к путешествиям (нередко связанным с поисками смерти): «Тоска» — рефрен в «Отрывках из пу-

тешествия Онегина»; «авось где-нибудь умру на дороге!» [8, с. 316] — мысли Печорина. «Роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему», «Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, не знаю!» [2, с. 218, 318]. У Тургенева «скитальцы», встречающие смерть на дороге, — герой «Переписки» и Рудин, считающиеся классическими примерами типа «лишнего человека». Скитальчество не одноплоскостно: это может быть «охота к перемене мест», но может быть и странствие в вертикальном пространстве: «угадать назначение высокое» и «поспорить с судьбой».

2. Интертекстуальность: Герой читающий и сравнивающий себя с литературными образами.

3. Обязательное «испытание любовью» (Л. В. Пумпянский), что генетически восходит к пратипу романтического героя.

4. С середины века («Рудин») этот герой обладает даром красноречия, и слово становится его делом, появляются слушатели, увлекающиеся этим словом.

Правомерно привычный тип героя определить «скитальцем», поскольку это стало доминирующей чертой характеристики его жизненного пути.

Ф. М. Достоевского интересует герой, генетически связанный с типом «лишнего человека»-«скитальца». В первую очередь, речь идет о Версилове и Иване Карамазове. Любопытно, что означенный тип становится важным для Достоевского конца века тогда, когда исторический подтекст в обращении к ушедшим в прошлое типам характеров не прочитывается. Конечно, ни одного из этих героев нельзя в полном смысле назвать «лишним», тем не менее, опираясь на типологически значимые черты для такого рода героя, можно найти родственные связи между героями Достоевского и «лишним человеком».

Образ Версилова в типологическом аспекте

Образ Версилова неоднократно сопоставлялся с образами «лишних людей», наиболее подробно — в работе В. Я. Кирпотина, однако исследователь рассматривает образ Версилова не в типологическом ракурсе, а в сугубо социальном [7, с. 250]. Как Печорин не разгадан до конца, поскольку, раскрывая свою душу в исповедях, он только затемняет свою предысторию, и ни одна душа не в силах «понять его совершенно», со всеми слабостями и недостатками, так и Версилов остается для Аркадия «совершенною загадкой».

Он вне общества, причем в совершенно романтической позиции: «не общество исключило из своего круга, [он] скорее сам прогнал общество от себя, — до того он смотрел независимо» [4, с. 18]. Однозначно всеми он признается гордым человеком. Как и другие скитальцы из дворян, он «глубокоученый», по определению старого князя. Тоска скитальцев объясняется, с учетом эволюции образа, целым рядом причин, в числе которых не последнее место занимает образованность героев. Это беда и Версилова как, по определению Макара Ивановича, «большого человека»: «Иной все науки прошел — и все тоска. И мыслю так, что чем больше ума прибывает, тем больше и скуки» [4, с. 302] (вполне сопоставимо с печоринской мыслью: «самые счастливые люди — невежды»). Действительно, странничество героев связано с их образованием и с жизнью как познанием. Лучше всего об этом сказал Печорин: «сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня» [8, с. 316]. Поиски себя и своего места в мире, поиски ценностей больших, чем «тоска русского дворянина» [4, с. 373], связывают предыстории Печорина и Версилова:

Лермонтов	Достоевский
В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду.	Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню ‹…›. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу ‹…›. Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. ‹…› Потом Версилов и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет ‹…›. Во все это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался.

Итак, науки, удовольствия большого света, служба, тема денег — то, что роднит этих героев. Отличия — в том, что круг исканий «места в жизни» у Версилова шире, чем у Печорина: есть не только военная, но и гражданская служба (на которой он, в отличие от Бельтова, преуспевал), женился, попробовал жить в деревне и т. д. И постоянные метания: Россия — Европа с «русской тоской». Впрочем, в свете предложенного Достоевским определения можно и Бельтова и Рудина охарактеризовать скитальцами с русской тоской. Действительно, скитальчество — основная характеристика Версилова: скитальчество в любви, скитальчество в поисках идеала, скитальчество в поисках дела и т. д.

С литературными предшественниками, за исключением Печорина, Версилова роднит фатальность любви, только опять же с усилением до двойной фатальности. Это «фатум» отношений с Ахмаковой, что признает и сам Версилов и что напоминает отношения героев тургеневской «Переписки»:

У Достоевского	У Тургенева
«‹…› вся душа его была возмущена именно от факта, что с ним это могло случиться. Все-де, что было в нем свободного, разом уничтожалось пред этой	«Любовь даже вовсе не чувство; она — болезнь ‹…› обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли — ни дать ни взять хо-

встречей, и человек навеки приковывался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти». [4, с. 384].	лера или лихорадка… ‹…› в любви одно лицо — раб, а другое — властелин (…)» [9, с. 49].

Но у Достоевского это и неизбежность возвращения к Соне: «Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся... Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять — в этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда все кончится?» [4, с. 409].

Христианство стало одним из сюжетообразующих мотивов уже в романтической повести в стихах, у Достоевского оно становится психологической характеристикой героя. Впервые совмещаются гордость характера и вера. Вспомним, что у Толстого в «Отце Сергии» вера из гордости воспринимается как неверие. У Достоевского все значительно сложнее. Вера из гордости — это тоже вера, искренняя и способная доходить как до фанатизма, так и до разочарования. Это потребность человека сильного и гордого, как объяснил Васин: «Это — очень гордый человек ‹…›, а многие из очень гордых людей любят верить в бога, особенно несколько презирающие людей. ‹…› Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу. ‹…› они выбирают бога, чтоб не преклоняться перед людьми, — разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие — вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся» [4, с. 51–52]. Сам Версилов находит определение своей веры не в теологических, а в философских категориях: «Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, я — деист, философский деист ‹…›» [4, с. 379].

Уже лермонтовского героя трудно оценивать однозначно. Еще больше это усиливается в характеристике Версилова, причем не умаляются и не затемняются основные его черты. Рождается любопытная стилистическая конструкция: теза не отвергается антитезой, но подвергается сомнению. Он отверг общество и «смотрел независимо». И здесь же вопрос: «Но имел ли он право смотреть таким образом ‹…›?» [4, с. 18]. «Это — очень гордый человек!» — «Но чистый ли это человек?» [4, с. 51]. «Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученый» — «но правильный ли это ум?» [4, с. 31]. Пожалуй, первый из ряда вопросов еще разрешен, остальные — так и остались без ответа.

Наконец, герои рассматриваемого типа, начиная с Рудина, любят и умеют говорить, этим гордится и Версилов в разговоре с Аркадием: «Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо» [4, с. 106]. В структуре романа монологи Версилова, в том числе и монологические куски в диалогах, занимают весьма значительную часть.

В ряде моментов можно не согласиться с отнесением Версилова к рассматриваемому типу героев. Например, нет до Версилова ни одного «лишнего человека», создавшего свою семью. Однако герой Достоевского создает такую семью, которую трудно назвать семьею в полном смысле этого слова. Он был и остается скитальцем, правда, у которого есть пристанище, где его всегда ждут.

Тем не менее, основные типологические черты сохранены: предыстория как утрата основных ценностей жизни, любовь как фатум, скитальчество, сложные отношения с Богом (вера на грани разрушения веры), любовь к слову, гордость

и загадочность. И, обращаясь вновь к терминологии, можно утверждать, что более точным в характеристике такого типа героев оказываются их скитания, но не лишность.

Иван Карамазов в типологическом контексте «скитальца»

Как и все «лишние люди», Иван Карамазов «чуть не в младенчестве ‹…› стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению», отмечаются не просто блестящие, а «гениальные способности» [5, с. 15]. И вновь есть сомнения в «правильности ума», как у Версилова. На этот раз оценка «правильности ума» звучит как приговор, поскольку эти сомнения и высказаны прокурором: «с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим» [6, с. 126]. И здесь же — объяснение бесплодности этого ума «ранним растлением от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения» [6, с. 127). Как отмечалось выше, именно европейское образование, результаты которого не востребованы в России, делают героев «лишними», или скитальцами, не только в России, но и в мире в целом. Но в романе Достоевского все несколько усложняется. Это не столько попытка разобраться в характере героя и его «лишности» («лишность» констатируется), сколько характеристика психологического плана. Ясно, что прокурор относится с долей презрения ко всему семейству Карамазовых, не случайно в его речи все сопоставимы друг с другом (обороты: «точь-в-точь, как и родитель его», «каким страдает старший брат его» и т. д.), отсюда — и грубовато-просторечное «похерившим». Наконец, неприятие Ивана отцом выливается в отрицание ума последнего: «Иван хвастун, да и никакой у него такой учености нет... да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмехается на тебя молча,* — вот на чем только и выезжает» [5, с. 158].

Впрочем, о «лишности» Ивана говорят все — от отца до прокурора: «Иван никого не любит. Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди, это пыль поднявшаяся... Подует ветер, и пыль пройдет...» [5, с. 159]. Сравнение с «пылью» напоминает рудинское определение «перекати-поля». При сходстве ситуаций есть существенные различия: утверждается жизненность и жизнестойкость идей Рудина, их необходимость даже для Лежнева. В определении карамазовском — полное неприятие Ивана и его идей: дунул — и освободился от всех его размышлений. Отсюда — большее одиночество Ивана, чем тургеневского героя.

Итак, образ Ивана соотносим с образом Дмитрия Рудина. Вообще, рассудочная сторона превалирует над сердечной в образах подобных героев, самый яркий пример — Дмитрий Рудин, умеющий красиво и много говорить о любви, но не умеющий любить. Уже в одной из первых характеристик Ивана отмечалось, что ему присущи «холодные здравые рассуждения». Правда, с неточностью утверждения хроникера, пользующегося слухами и подчеркнуто не обладающего достоверными сведениями о героях. Однако на деле все значительно сложнее с рассудочностью и любовью. Иван умеет любить страстно, до ненависти. И, пытаясь отказаться от Катерины Ивановны, он все-таки любит ее: «— Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю! Хе-хе! Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, — а между тем, как легко от нее уехать [5, с. 211–212]. И позднее: «‹…› идя ‹…› ночью с

Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: «я-то до нее не охотник», — то страшно лгал в ту минуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить [6, с. 48]. Герои Достоевского, в отличие от романтического героя и героя первых реалистических романов, не разочарованы, как не был разочарован и Рудин, знающий, что может умереть «за какой-нибудь вздор, в который даже верить не будет...». Разочарование неважно для героев Достоевского, до сладострастия любящих жизнь: «Я сейчас здесь сидел и, знаешь, что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, проклятый и может быть бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду... не знаю куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, *все победит моя молодость, — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни* (курсив мой. — *Н. Ф.*) [5, с. 209].

И вновь актуально скитальчество с конечной целью — умереть, когда пройдет «жажда жизни»: «Когда к тридцати годам я захочу “бросить кубок об пол”». Пространственно путь неопределен, как и у Печорина («авось, где-нибудь умру на дороге»). Путь Ивана — путь «совсем одинокий» и «совершенно неведомый», в который отправляется он с «тоской нового и неведомого» [5, с. 241]. Размыт уже путь в Москву: появляется несколько вариантов — Америка — возможная конечная точка путешествия в слове Ивана; Венеция — в слове Федора Павловича («Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня» [5, с. 253].

Для Печорина и путешествующего офицера природа — не только и не столько пейзаж, она имеет и некое универсальное значение, в том числе связь с небом и близость к небу, «утраченному раю». Так и смутная душа Ивана успокаивается перед «ясным небом», и герой жаждет перемен в жизни: «В душе путешественника было смутно ‹…›. И вдруг ему стало так хорошо. ‹…› хорошо было и так: воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. <…> Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!» [5, с. 254–255]. **

При всей жажде жизни есть и жажда конца.

У Печорина напрасно уходят «силы необъятные». Рудин умирает за дело, «в какое и сам верить не будет». У всех есть великое стремление к великой цели, но никто из «лишних людей» не знает этой цели и своего назначения. Более определенная (при всей неопределенности) цель у Версилова: быть странником в Европе»: «‹…› я твердо знал, что мне надо молчать и скитаться» [4, с. 376].

Любопытно, что до романа Достоевского герои сами говорили о своей «цели высокой», либо это вытекало из повествования. В отношении Ивана Карамазова опять есть доля сомнений в предназначенности героя, это кажется Алеше (нет уверенности): «Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно» [5, с. 30].

Как известно, интересующий нас тип героя генетически связан с героем романтическим. Не случайно скитальцы читают о своих литературных предшественниках и их поведение нередко оцени-

вается в романтическом контексте. Читает и Иван романтическую литературу и даже знает наизусть Шиллера, чем удивил Алешу [5, с. 175–176].

Впрочем, романтические произведения знают все герои «Братьев Карамазовых», Байрона и Шиллера цитируют и сравнивают с реальными лицами романа самые разные герои, в том числе и прокурор [6, с. 127]. Есть и прямые сопоставления Ивана с романтическим героем, как в речи Федора Павловича — «почтительнейший Карл фон Мор» [5, с. 85]. Сам Иван признает и не признает себя романтическим героем — особенность поздней реалистической литературы с «читающими» героями: постоянное сопоставление себя с типами героев, описанными в литературе, желание и нежелание такого сопоставления. «…Да, я “романтик”, он это подметил... хоть это и клевета» [6, с. 87]. Впрочем, круг чтения расширяется, упоминается даже и Лев Толстой («‹…› в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, ‹…› что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит ‹…›» [6, с. 74]).

Герои не только читают романтическую литературу, не только сопоставляют друг друга с романтическими героями, но и знакомы с литературной полемикой. Черт упоминает теорию натуральной школы В. Г. Белинского [6, с. 81–82].

В отличие от писателей натуральной школы и черта в душе Ивана, даже в этой сцене сильна тяга к романтизму — он хотел бы видеть не «просто черта», «дрянного, мелкого черта», а «сатану с опаленными крыльями, в громе и блеске» [6, с. 86]. Мистериальное начало вновь становится значимым (после Лермонтова) в характеристике героя. Тема богоборчества — основная тема в романтизме, атеизм Ивана может быть спроецирован на богоборчество. Безусловно, все значительно сложнее, поскольку в нем «этот вопрос не решен» [5, с. 65]. На протяжении романа Иван проходит путь от утверждения Бога в своей статье, обсуждаемой в келье старца Зосимы («Блаженны вы, коли так веруете ‹…›» [5, с. 65], до сомнений в том, что Бог внимателен к Земле, наконец, в отказе от Бога. Другими словами, искания Ивана протекают в горизонтальном пространстве — в скитальчестве и в мистериальном вертикальном пространстве.

Таким образом, в творчестве Достоевского сохраняются в характеристиках героев черты, ставшие типологическими при характеристике уже сформировавшегося к этому времени типа скитальца, причем усиливается именно мотив скитания, осознаваемый не только автором, но и самим героем даже подчеркиванием героем своего скитальчества (особенно Версиловым). *** Достаточно очевидна связь Достоевского с Лермонтовым и Тургеневым в создании образов своих героев. Становятся устойчивыми характеристики дворянина, получившего европейское образование и ставшего «умной ненужностью» («похерившим» свои дарования) в России. Как бы ни решались судьбы этих героев, они всегда одиноки и загадочны. При всем том они не разочарованы, как было с романтическим героем. Важна тема знания и познания. Они все время познают себя и жизнь окружающую. Но познание однонаправлено, они никогда не возвращаются к уже раз испытанному.

Все они читают, и много читают, сопоставляя себя с героями прочитанных произведений, расширяется и круг чтения. Это не только произведения, близкие героям, но и не принимаемые ими. Отсюда возможны литературные дискуссии и внутритекстовая литературная полемика.

Жизненно значим для них и вопрос о существования Бога, не решаемый однозначно. В исследованиях теологических

вопросов рождается мистериальный план и становится значимым вертикальное пространство мира, как в романтических произведениях, и в лермонтовском романе.

В характеристике героев имеет место новая формула силлогизма: теза — сомнение, отсюда и невозможность однозначной оценки того или иного лица.

ПРИМЕЧАНИЯ

* О характерологической функции молчания в «Братьях Карамазовых» см.: [3, с. 435–445].

** Ср. с Печоринским: «Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления?..» [8, с. 356].

*** Если просьба «о всех бесприютных скитальцах» в эпилоге «Рудина» относится к нарраторскому слову, то в романе Достоевского — осознано скитальчество самим героем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бялый Г. А.* Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962. 247 с.
2. *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 4. 344 с.
3. *Джоунс М.* Молчание в «Братьях Карамазовых» / Пер. с англ. Т. Касаткиной // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: Современное состояние изучения М.: Наука, 2007. С. 435–445.
4. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1975. Т. 13. 456 с.
5. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. 511 с.
6. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. 624 с.
7. *Кирпотин В. Я.* Мир Достоевского: Статьи. Исследования. М.: Сов. писатель, 1983. 375 с.
8. *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч.: В 4 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 4. 754 с.
9. *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М.: Наука, 1980. Т. 5. 543 с.